

Григорий БЕНЕВИЧ

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Вехи духовной биографии

В последние годы было опубликовано несколько монографий, посвященных жизни и творчеству Ольги Берггольц (1910–1975)¹, в которых в той или иной степени (обычно без подробностей) затрагивалась ее духовная биография. Под нею я имею в виду, попросту говоря, то, во что в те или иные периоды жизни Берггольц верила. Обобщающей работы на эту тему еще не было. Такая постановка вопроса может показаться странной или надуманной; в самом деле, какое отношение вера имеет к поэзии, шире к литературе, — разве что косвенное, тем более когда речь идет о великом трагическом голосе блокадного Ленинграда. Однако вот запись из дневника Берггольц от 14/III-47: «...не могу я все же делать что-то без бога, хотя бы и без обломка бога»² (здесь и далее правописание в цитатах Берггольц авторское). Не стоит торопиться принимать эти слова за свидетельство религиозности Берггольц в привычном смысле этого слова (как мы увидим ниже, речь здесь не об этом), но уже из приведенной цитаты видно, что вера (как бы ее ни понимать) для Берггольц имела важнейшее значение. Это подтверждается на многих примерах из ее стихов, прозы, писем и недавно опубликованных дневников, как и то, что вера эта на протяжении жизни существенно менялась. Тем более важно понять и проследить историю ее веры, в небольшой степени отражающей историю духовных исканий нескольких поколений русской интеллигенции. Чтобы подробно написать об этом, понадобилась бы целая книга, здесь же я хотел бы (стараясь минимально повторять других) отметить лишь основные вехи ее духовной биографии, останавливаясь чуть подробнее на некоторых из них.

Но сначала про сон. В 1954 году в автобиографической прозе Берггольц поделилась одним сном про город Углич, куда мать увезла ее с младшей сестрой от бедствий и голода Гражданской войны; по ордеру горкоммуны жили они с 1918-го по 1921 год, пока не вернулись в Петроград, в келье еще действовавшего тогда Богоявленского девичьего монастыря, и тогдашние впечатления запали ей так глубоко в душу, что сон о том месте посещал ее время от времени всю жизнь. Но что именно ей снилось? «Мне снилось: я попала в Углич и иду по длинной, широкой, заросшей мелкой зеленой травкой улице... И вот я иду по зеленоватой, мерцающей улице, а вдали тоже мерцает и светится белая громада собора. Мне обязательно нужно дойти до него, потому что за ним

Григорий Беневич родился в 1956 году в Ленинграде. Культуролог, философ, поэт. Доцент Русской христианской гуманитарной академии. В советский период публиковался в самиздатских журналах «Обводный канал», «Часы», «Предлог», в последние годы публикует стихи и статьи в журналах «Нева», «НЛО», «Звезда», «Новый мир», «Волга», «Интерпоэзия», «Плавучий мост», «Этажи», «Чайка» и других.

¹ В. Улыбин. И лжи заржавеет печать. Двойные звезды Ольги Берггольц. СПб.: Алетейя, 2010; Н. Прозорова. Ольга Берггольц. Начало (по ранним дневникам). СПб.: Росток, 2014; Н. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. М.: АСТ, 2020.

² О. Берггольц. Мой дневник. 1941–1971. Т. 3. М.: Кучково поле, 2020, с. 353.

наша школа и садик... и я знаю, что когда дойду до собора, ...наступит удивительное, мгновенное, полное счастье. И я кружу по странно сумеречным улицам, и собор все ближе, все ярче, и все нарастает и нарастает во мне предчувствие счастья, все сильнее дрожит и трепещет внутри что-то прекрасное, сверкающее, почти режущее, и все ближе собор, и вдруг — конец: просыпаюсь! Так и не удалось мне за долгие-долгие годы дойти — во сне до „своего собора“»³.

В этом повторяющемся всю жизнь сне О. Берггольц мне видится некий символ. Не нужно быть великим толкователем сновидений, чтобы предположить: что-то существенное, связанное с ее детством, пребыванием в Угличе, жизнью в монастыре, было вытеснено в бессознательное и во сне давало о себе знать в символической форме пути к храму, до которого никогда не удавалось дойти. Почему и что было вытеснено, можно узнать из произведений Берггольц, прежде всего по ее дневникам.

* * *

В детстве Ольга росла под влиянием православных матери и бабушек. Не только в Угличе, но и вернувшись в Петроград, и сама Ольга оставалась искренне верующей, защищала в себе веру от наступавшего безбожия. Так, в апреле 1923 года она записала в дневнике: «Нет, жалкие лгуны, / Напрасно вы кричите, / Что Бога не было, что не воскрес Христос! / Вы этим в сердце нам лишь веру укрепите, / Прошедшую сквозь дымку горьких слез!»⁴ Далее в той же стихотворной дневниковой записи, (приуроченной, как видно из подписи к ней к «антирелигиозным мероприятиям большевиков»), вероятно воспроизводя ту борьбу, которая началась уже за нее саму и других детей, юная Ольга пишет: «Желаете добра вы страждущим рабочим? / Пустые то слова! И смысл (sic!) их пустой! / Зачем от матери, любящей страстно Бога, / Вы отрываете детей ее родных? / Зачем же юношей и девушек невинных / Вы сбили с чистого и верного пути? / Не просвещение, нет! Вы сеятели злобы, / Порока, гибели... Всех топчите в грязи...»⁵

Но вскоре начинают появляться записи с выражением все больших симпатий к «идейным коммунистам», которые ей кажутся большими христианами, чем ее родные. Вот, пожалуй, первая из них, приуроченная к смерти Ленина, на которую Ольга отреагировала совсем не так, как ее родные: «Что, в сущности, представляет собою коммунизм? Это учение Христа, т. е. исполнение его заветов, но с отрицанием его самого. И, по-моему, в РКП более правды, чем в монашеской общине. И меня влечет к нему, и я буду коммунисткой! ...Я на сильном переломе: я разуверилась почти что в Христианах, а Бог? — он так далеко... Если есть Бог, зачем он не поможет мне и другим; да, он наказует. Но ведь он добрый, терпеливый, милостивый, а наказует. ...Не понимаю. Да, христиане! Вот они — слова пустые. Хотя бы наша бабушка. Она молится, исповедуется, а первая сплетница»⁶.

Вскоре, помимо недоверия к православию родных, на духовность Ольги начинает влиять еще характерная для отроческого возраста проблематика. К этому времени относится такая запись (21/II-24):

Мне тяжело, мне больно. Собравши усилия,
Я в мрачную душу не бога зову....
О, демон, слети на пылающих крыльях.
Вина мне! Вина дай! Я вновь оживу.

³ О. Берггольц. Дневные звезды. Говорит Ленинград. М.: Правда, 1990, с. 37.

⁴ О. Берггольц. Мой дневник. Т. 1. 1923–1929 гг. М.: Кучково поле, 2016, с. 57.

⁵ Там же.

⁶ Там же, с. 97.

Вина не простого, но с дьявольской кровью,
 Но с адским и жгучим проклятым огнем...
 Будь проклят весь мир с его страшной любовью!
 Ни счастья, ни бога, ни радости в нем!
 Я долго звал бога! Но бог не внимает.
 О, демон, дай адскую чашу полней...⁷

И хотя в этих строчках (ключевая — «Будь проклят весь мир с его страшной любовью!»), чуть ли не заключении завета с дьяволом, много от «литературы» (Лермонтов?), но важно, на что в литературе откликается душа. Вот один из откликов: «„Овод“ крепко засел в моей душе. ...Я абсолютно не верю в Бога! Бог — это создание самого народа, людей. ... Как „Овод“, я сокрушила в своем сердце Бога... но не Христа. Нет, Христос не бог: Христос — великий коммунист, это был человек, правда, идеальный, но не бог»⁸.

Ольга еще некоторое время участвует в церковных обрядах: исповедуется на Пасху, причащается, главным образом, чтобы не огорчить маму, которую горячо любит. Но дух бунта против «среды» и посредственности все более растет в ее сердце. Прочтя Достоевского, она пишет: «Раскольников во всем прав. ...Я не хочу быть тварью... дрожащей... вошью... Нужно быть гордой, гордой и смелой, чтоб потом право иметь — сметь»⁹. Или: «Я не хотела бы ни жить, ни умереть так, как наша бабушка. ...Я хочу умереть за что-нибудь красивое, гордое»¹⁰.

Итак, поворотным событием в духовной биографии Берггольц стала смерть Ленина. В отличие от православных друзей и знакомых ее матери, она восприняла эту смерть с большим сочувствием к вождю, разделяя горе утраты с рабочими и написала стихи его памяти. Ее папа, врач на одном из заводов Невской заставы, гордый тем, что тринадцатилетняя дочь написала складное стихотворение на общественно важную тему, отнес его в заводскую многотиражку, и оно имело успех.

После этого Ольгу начинают печатать, а в идейном плане с той же горячей верой, с которой она верила в Бога, она поверила в коммунистические идеи. Ее захватывает комсомольская романтика, и она разделяет судьбу образованной молодежи своего поколения, становится пропагандисткой, воспекает стройки социализма. Ее прежнее воспитание, впрочем, изредка дает себя знать в ее творчестве, но уже в новой перспективе. Так, как заметил В. Улыбин, в стихотворении про Волховстрой пятнадцатилетняя Ольга Берггольц пишет: «Старый Волхов! Клянусь пред тобою, / Что ребяческий долг погашу, / И для сотни иных волховстроев / Кирпичей на спине наношу». В последней строке аллюзия к «Житию Ксении Блаженной»!¹¹

Но в целом с миром верующих родных она идейно рвет (в дневнике за 1926 год она записывает, что на Пасху выбросила кулич и яйца в Мойку¹²), отношения с матерью становятся все хуже, да и в творчестве какие-либо следы православной веры почти исчезают. Ольга стремительно входит в литературную жизнь, к ее стихам благосклонно отнеслись К. Чуковский и А. Ахматова, прозу похвалил М. Горький, она становится активной участницей литературного объединения «Смена», где знакомится с будущим первым мужем, поэтом (более сильным на тот момент, чем она) Борисом Корниловым. Впрочем, брак с ним не продлился долго (от него осталась дочка Ира), а Берггольц

⁷ Там же, с. 103.

⁸ Там же, с. 123.

⁹ Там же, с. 232.

¹⁰ Там же, с. 235.

¹¹ Улыбин. И лжи заржавеет печать. Двойные звезды Ольги Берггольц. СПб., 2010, с. 29.

¹² Берггольц. Мой дневник. Т. 1, с. 293.

вскоре вышла замуж за журналиста и филолога Николая Молчанова. За все эти годы «Углич» появлялся в творчестве Берггольц один раз, когда она в 1932 году издала повесть под таким названием, пытаясь рассказать о своем детстве, явно приглушая православный контекст жизни в Угличе, чтобы вывести на первый план начинающийся поворот в сторону новой жизни и новых идей (что было некоторым анахронизмом). Как бы то ни было, даже такого описания для рапповской критики было достаточно, чтобы устроить Берггольц разнос за мелкобуржуазность, недопустимую для комсомолки. Ей пришлось перестраиваться, и к воспоминаниям об «Угличе» она смогла вернуться только в 1954 году.

В 30-е же годы Берггольц — подающая надежды советская писательница, журналистка, пропагандистка, кандидат в члены ВКП(б). Первым потрясением стала для нее смерть в 1933 году, не прожившей и года дочери от Молчанова, Майи (на ее могиле мать поставила красную звезду). Но бурная литературная и личная жизнь берут свое, пока на Берггольц не обрушивается целая череда несчастий. В 1936 году тяжело заболела и умерла семилетняя дочь Ира. Берггольц записывает в дневнике: «Если б верила в бога, то сейчас бы думала, что он отнял у меня дочь в наказание за эту жизнь, которую я вела, и что наказание — заслужено мною»¹³. В 1937 году Берггольц подверглась «чистке» по литературной и партийной линии, у мужа участились начавшиеся еще в 1933 году после контузии в армии эпилептические припадки. Наконец, в декабре 1938 года Берггольц была арестована и заключена в следственной тюрьме НКВД, откуда — это совпало со сменой тамошнего начальства — вышла оправданная через полгода, узнав на опыте (прежде она этого не признавала), что многие, кто подвергся репрессиям, преданные Партии и Родине люди.

Берггольц мучила совесть, что она вышла, а ее сокамерницы нет, что многие ее друзья репрессированы, что она ничего не может сделать для них. К этому времени относится диптих «Аленушка», остановимся на нем чуть подробнее.

Отступление первое. «Аленушка»

Когда весна зеленая
затеплится опять —
пойду, пойду Аленушкой
над омутом рыдать.
Кругом березы кроткие
склоняются, горя.
Узорною решеткою
подернута заря.

А в омуте прозрачная
вода весной стоит.
А в омуте-то братец мой
на самом дне лежит.
На грудь положен камушек
граненый, не простой...
Иванушка, Иванушка,
что сделали с тобой?!

Иванушка, возлюбленный,
светлей и краше дня, —

¹³ Там же. Т. 2. 1930–1941 гг. М.: Кучково поле, 2017, с. 334.

потопленный, погубленный,
ты слышишь ли меня?

Оболганный, обманутый,
ни в чем не виноват —
Иванушка, Иванушка,
воротисься ль назад?

Молчат березы кроткие,
над омутом горя.
И тоненькой решеткою
подернута заря...

2

Голосом звериным, исступленная,
я кричу над омутом с утра:
«Совесь светлая моя, Аленушка!
Отзовись мне, старшая сестра.

На дворе костры разложат вечером,
смертные отточат лезвия.
Возврати мне облик человеческий,
светлая Аленушка моя.

Я боюсь не гибели, не пламени —
оборотнем страшно умирать.
О, прости, прости за слушание!
Помоги заклятье снять, сестра.

О, прости меня за то, что, жажда,
ночью из звериного следа
напилась водой ночной однажды я...
Страшной оказалась та вода...»

Мне сестра ответила: «Родимая!
Не поправить нам людское зло.
Камень, камень, камень на груди моей.
Черной тиной очи занесло...»...

Но опять кричу я, исступленная,
страх звериный в сердце не тая...
Вдруг спасет меня моя Аленушка,
совесь отчужденная моя?

Стихотворение написано в 1940 году, то есть уже после выхода из следственной тюрьмы, в центре его, во-первых, судьбы сидящих в тюрьмах и лагерях — оболганных и обманутых, а во второй части — мука отчужденной совести, не дающей забыть увиденное, но слишком слабой пока, чтобы спасти. Можно обратить внимание, что во второй части диптиха Берггольц обращается к «Аленушке» не от имени «Иванушки», брата,

а от своего собственного. Это видно хотя бы по тому, что тут используется женский род: «напилась водой ночной однажды я». Само же признание, что она напилась, «жаждая, ночью из звериного следа», в контексте биографии Берггольц звучит как признание своей вины за участие в общем озверении (ведь и она активно включилась в «чистки», поддерживая изгнания и осуждения некоторых из своих бывших товарищей-писателей и даже первого мужа — Б. Корнилова).

* * *

В тюрьме Берггольц узнала, хотя бы отчасти, страшную правду о режиме, при котором жила, начала снова задумываться о религии. Одна из записей после выхода из тюрьмы: «Много по ночам говорили с Колей — о жизни, о религии, о нашем строе... Интересные и горькие мысли»¹⁴ (1939).

В 1940 году было написано:

И когда меня зароят
возле милых сердцу мест, —
крест поставьте надо мною,
деревянный русский крест!

Существенный сдвиг, если сравнивать с тем, что на могиле дочери Майи она поставила (настояла на этом) красную звезду. К воспоминаниям о пребывании в тюрьме относится и такая ее запись: «Постижение Христа через тюрьму». И далее чуть измененные строчки из Блока: «Вот он, Христос, в венце и розах, / Пришел, смотрит в окно тюрьмы. / Вот он, Христос, в кровавых ризах / Смотрит в окно тюрьмы». Возможно, к этому же периоду относится и сохранившаяся в ее архиве запись: «Христос — человек. Наш, родной советский человек»¹⁵. Не стоит думать, что Берггольц в это время вернулась к православию (этому нет никаких свидетельств), но христианство и, особенно, Христос снова стали значимыми для нее.

Впрочем, духовная биография не сводится к отношениям к Богу и религии, а и вообще к вере. Выше я уже включил в нее то, что имеет отношение к совести — весьма важном «органе» человеческого устройства, тем более для поэта. Теперь же нужно сказать о том, что можно было бы назвать пиковым духовным опытом.

Отступление второе. Мамисон

Такой пиковый духовный (почему именно духовный, будет ясно из дальнейшего) опыт был связан у Берггольц с Мамисонским перевалом (красивейший перевал кавказских гор, где она побывала в 1930 году, во время практики перед окончанием университета). Открывшееся ей на этом перевале так потрясло Берггольц, что в дневниках она неоднократно говорит о плане написать рассказ об этом¹⁶. Но, сколько мне известно, он так написан и не был. Зато вскоре после освобождения из тюрьмы (в тюрьме она пробыла с 13 декабря 1938-го по 3 июля 1939 года) она написала диптих «Дорога в горах» (1939–1940), в котором наиболее значимой является вторая часть — «На Мамисонском перевале» (1940). Это стихотворение, замечательное само по себе, можно рассматривать как акт своего рода, психологической, творческой и духовной «реабилитации». Вот его текст:

¹⁴ Там же. Т. 2, с. 560.

¹⁵ О. Берггольц, Прошлого нет. СПб.: Царское Село, 2003, с. 332.

¹⁶ О. Берггольц, Мой дневник. Т. 2, с. 218, 462, 507, 510, 516, 521 (записи с 1930-го по 1938 г.).

На Мамисонском перевале
 остановились мы на час.
 Снега бессмертные сияли,
 короной окружая нас.
 Не наш, высокий, запредельный
 простор, казалось, говорил:
 «А я живу без вас, отдельно,
 тысячелетьями, как жил».
 И диким этим безучастьем
 была душа поражена.
 И как зенит земного счастья
 в душе возникла тишина.
 Такая тишина, такое
 сошло спокойствие ее,
 что думал — ничего не стоит
 перешагнуть в небытие.
 Что было вечно? Что мгновенно?
 Не знаю, и не все ль равно,
 когда с красою неизменной
 ты вдруг становишься одно.
 Когда такая тишина,
 когда собой душа полна,
 когда она бесстрашно верит
 в один-единственный ответ —
 что время бытию не мера,
 что смерти не было и нет.

Это едва ли не наиболее философское (в подлинном смысле философии как мышлении о бытии) стихотворение Ольги Берггольц, к тому же являющее ее не в ставшей уже привычной роли «блокадной музы Ленинграда», а как-то иначе. Вместе с тем философичность этого стихотворения (к ней прямо или косвенно относятся темы бытия и времени, небытия, вечности, мгновения, счастья, красоты) сочетается с достоверно переданным духовным, если угодно даже мистическим, опытом, который и лежит в основе его «философии», внушая доверие к ней. Этот опыт можно назвать опытом Тишины. Слово это вместе со словом спокойствие неоднократно повторяется в стихотворении, занимает в нем центральное место. Тишина и покой вошли в душу, наполнили ее через встречу с возвышенным (в смысле Канта), трансцендентным (в стихотворении говорится о «запредельном» просторе), что вылилось в единение с «неизменной красотой». Это не просто какой-то юношеский восторг, но опыт посетившего душу бесстрастия («бесстрашия»), в котором преодолевается разделение между вечным и мгновенным, бытием и небытием, жизнью и смертью, и даже, если приглядеться, то и между мужским и женским («Такая тишина, такое / сошло спокойствие ее, / что думал — ничего не стоит / перешагнуть в небытие» — «думал», а не «думала!»).

Тишина здесь — явление уже не чувственного мира; она возникла в душе после того, как при созерцании кавказских гор Берггольц оказалась поражена чем-то запредельным. Тишина возникла в душе как нечто исполнившее ее, вернувшее ее к себе самой, своей — души — собственной природе: «Когда такая тишина, / когда собой душа полна». Именно такая полнота приобщенной Тишине души доставляет ей внутреннее свидетельство бессмертия. Речь идет не о победе над смертью, как будет позднее в поэме «Твой путь» (1945), в которой Берггольц неоднократно будет вспоминать Ма-

мисон (и противопоставлять этому опыту новый, блокадный), но о состоянии, когда смерти просто нет.

* * *

Но вернемся к биографии поэтессы. Восстановленная после тюрьмы в ВКП(б) и Союзе писателей, Берггольц снова вошла в прежнюю роль «инженера человеческих душ», но «в столе» у нее уже были написанные под влиянием опыта репрессий и личных утрат стихи, которые никак не вписывались в то, что тогда называлось «советской литературой». Эти стихи, в частности цикл «Родина» (1939), у Берггольц свидетельствуют о таких отношениях с Родиной (именно так, с большой буквы), которые иначе не назовешь, как религиозными. По точному наблюдению Сергея Завьялова¹⁷, ее обращение к Родине «порой напоминает диалог Иова с Господом»:

Изранила и душу опалила,
лишила сна, почти свела с ума...
Не отнимай хоть песенную силу,
не отнимай — раскаешься сама!

Не отнимай, чтоб горестный и славный
твой путь воспеть.
Чтоб хоть в немой строке
мне говорить с тобой, как равной
с равной, —
на вольном и жестоком языке.

«В немой строке» это, конечно, о том, что такие стихи, она это знала, не будут опубликованы, но она готова была и на это. Появляющееся же здесь «обещание» воспеть «твой путь» (если не будет отнят песенный дар) отозвалось потом в поэме «Твой путь» 1945 года, посвященной, правда, не всей Родине, но родному Городу; впрочем, его «путь» во время блокады — смерть и воскресение — можно счесть квинтэссенцией пути всей страны во время войны.

Что же касается обращения к Родине в 1939 году, то в нем можно заметить своего рода перенесение ответственности с режима на Родину. Это не власти, не репрессивные органы «изранили и душу опалили», а Родина. Даже в стихах, которые писались в стол, она не обвиняет за террор ни Сталина, ни режим! Дело тут, думаю, не в сервилизме, а в том, что признать бессмысленность таких страданий, которые Берггольц пережила, можно лишь в том случае, если считать, что они от «Родины», ни больше ни меньше (власти же в этом контексте — лишь орудие Родины). Перенести все эти страдания и унижения можно потому, что та же самая Родина наделяет и песенной силой, лучшим, что у нее как поэта было.

Появление «Родины» в таком качестве тем более сохранилось во время Отечественной войны. Берггольц сама позднее вспоминала, что во время войны «молилась, обращаясь к Родине (тому огромному, страшному, любимому, прошедшему, проходящему через меня этим расплавленным искрящимся потоком)»¹⁸. Это подтверждается и ее стихами, написанными осенью 1941 года, когда, казалось, что немцы будут штурмо-

¹⁷ Из готовящейся статьи «Поэзия социалистического реализма», с которой он меня любезно ознакомил.

¹⁸ Именно в этом контексте, вспоминая свою молитву к Родине 1941 года, Берггольц дает свое определение молитвы: «Молитва — серебряное ведро, которое опускает человек в свою глубину, чтобы почерпнуть в себе силы, в себе самом, которого он полагает как бога... Он думает, что это он богу

вать Город: «...страна моя, прекрасная моя. // Прозрачное, правдивейшее слово / ложится на безмолвные листья./ Как в юности, молюсь тебе сурово / и знаю: свет и радость — это ты» («Осень сорок первого»).

Такое отношение к Родине, стране может служить объяснением одного малоизвестного факта из творческой биографии Берггольц. В 1943 году она участвовала в конкурсе на лучший вариант гимна СССР, так вот только гимн Берггольц (а было еще 30 авторов) не содержал упоминания Ленина и Сталина, да и про коммунизм и большевиков там ничего нет, есть только про отчизну, державу, народ¹⁹. По тем временам и в той ситуации это нечто беспрецедентное (если бы не война и известность поэтессы, за такую дерзость — осознала ли ее сама поэтесса? — запросто могли наказать²⁰). То же, что в других текстах Берггольц слова-маркеры официальной идеологии зачастую присутствовали, еще более рельефно подчеркивает их отсутствие в тексте гимна.

Итак, с таким духовным багажом — верой в Родину (но и обретением дерзновения в отношении нее), с первыми проблесками внутренней свободы (тюремный опыт), с осознанным опытом бессмертия (Мамисон) — Берггольц встретила войну.

* * *

О блокадной лирике Берггольц, том, как она, работая на радио, стала одним из главных голосов блокадного Города, хорошо известно. Менее известно, что именно в это время, говоря о подвиге ленинградцев, точнее, просто о блокадном быте, который, по ее словам, стал «бытием», она в стихах стала прибегать к языку Церкви, языку ее детства. Что значит такая актуализация языка церковной традиции у поэта, который церковным человеком уже давно не был, можно понять по одному примеру из «Ленинградской поэмы» (1942). В конце третьей части этой поэмы встречаем такие слова: «О, мы познали в декабре — / не зря „священным даром“ назван / обычный хлеб, и тяжкий грех — / хотя бы крошку бросить наземь: / таким людским страданием он, / такой большой любовью братской / для нас отныне освящен, / наш хлеб насущный, ленинградский». «Священным даром» — это, конечно, о Святых Дарах, даже крошку, частичку от которых, по церковным канонам, уронить на землю — страшный грех. И молитву «Отче наш», где молятся о «хлебе насущном», Церковь возносит перед причастием этих Святых Даров. Так, прибегая к православной парадигме, Берггольц обычный хлеб (но это, как она сама пишет, блокадные 125 грамм!) возводит в статус священного, «святых даров», понимает его именно в этом качестве, усматривая его священность не только в том, что без него — смерть, и он реально спасает уже здесь и сейчас тех, кто его вкушает, но и в том, что он освящен людским страданием и братской любовью — недвусмысленная аналогия с Крестной Жертвой и действием Святого Духа, без чего невозможна евхаристия. Так язык Церкви, «материнский язык» позволяет Берггольц осмыслить реальность ее собственной и ее Города повседневной жизни во время блокады, открывая священное измерение в этом быте.

Таких примеров можно привести множество, но особенно насыщена христианской символикой, церковным языком, может быть, самая выдающаяся, ее поэма «Твой путь» (1945), написанная накануне Победы и одновременно в преддверии Пасхи. Эта поэма (первоначальное название: «Воскресение») предваряется (опущенным во всех доперестроечных изданиях) эпитафией из 136-го псалма «Аще забуду тебя, Иерусали-

молится, — нет, он взывает к собственным силам» (О. Берггольц. Дневные звезды. Говорит Ленинград. М.: Правда, 1990, с. 165).

¹⁹ См. https://www.culture.ru/s/gimn_sssr/history.html.

²⁰ Вместо этого ее, как и всех остальных составителей гимна, наградили, хотя она и попала в число награжденных более скромной суммой.

ме...» и вся пронизана пасхальной символикой, темой смерти, воскресения и священной памяти. Нерв поэмы — память о погибшем во время блокады муже, Н. Молчанове. Но поэма является свидетельством о прохождении через смерть и о воскресении самой Берггольц и ее Города. Это одно из самых мощных и вместе с тем пронзительных произведений о войне и блокаде в русской поэзии, и оно, если читать внимательно, учитывая варианты, буквально пронизано церковной символикой.

Приведу лишь один пример. Одним из сильнейших и в поэтическом, и в человеческом смысле мест в поэме «Твой путь» является отрывок из третьей части поэмы, где она описывает, как на Литейном проспекте после прорыва трубы появился источник воды и как один человек бросился по льду к этому источнику, чтобы набрать воды, но был сбит волной и остался вмерзшим в лед. Вот дальнейшие строчки в том варианте, в котором текст почти ни в одном издании не публикуется:

А люди утром прорубь продолбили
невдалеке
и длинную чередой
к его прозрачной ледяной могиле
до марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь
ходить сюда, — не говори: «Забудь».
Я знаю все. Я тоже там была,
я ту же воду жгучую брала
из той же ленинградской Иордани
где человек, судьбы моей собрат,
как мамонт, павший сто веков назад,
лежал, затертый городскими льдами.

Строчка «из той же ленинградской Иордани» заменена во многих (впрочем, не во всех) изданиях другой: «на улице, меж темными домами». Между тем в первом издании поэмы в журнале «Знамя» (1945, № 5–6) был именно вариант с «Иорданью», и, что еще важнее, в авторском чтении этого отрывка в фильме «Ленинградка. Не дам забыть» (13–14-я минуты этого фильма)²¹ О. Берггольц читает это место в первоначальном варианте: «из той же ленинградской Иордани», а вошедшая в этот фильм запись, судя по всему, конца 50-х или даже 60-х годов. А значит, и по прошествии многих лет после написания поэмы автор помнила (устное чтение отражает авторскую память) именно этот вариант, вероятно более дорогой и близкий сердцу.

В чем же смысл упоминания здесь «Иордани»? Берггольц наверняка было известно с детства, что Иордань — это прорубь, вырубаяемая во льду для освящения воды в праздник Крещения Господня (Богоявления). Название крещенской проруби иордань происходит от имени реки Иордан, в которой крестился Иисус Христос. Контекст же, в котором это слово встречается в поэме Берггольц, позволяет говорить о том, что для нее «иордань» была не только изъята из обычного церковного употребления, но и (учитывая ее церковное значение) служила символом того страшного и святого (в подлинном смысле священного ужаса, о котором здесь уместно говорить), что невозможно забыть, что будет всегда пробуждать память и совесть. И если русский обычай купаться на Крещение в проруби, набирать крещенскую святую воду есть нечто народно-обрядовое, где-то на границе между православием и язычеством, то «Иордань» О. Берггольц совершенно изымается из какой-либо языческой и/или православной обрядности и оказывается символом мистерии жизни и смерти. Мистерии, причастный к кото-

²¹ <https://www.youtube.com/watch?v=mGpy4tCc7v4>.

рой никогда уже не сможет, точнее, не захочет ее забыть. В сущности, бытовое (речь ведь всего лишь о том, чтобы набрать и принести воды, и не крещенской, а «самой обычной») оказывается чем-то страшным и священным. Это страшное приобщение к Крещению не с обрядовой, а с содержательной стороны, как таинству жизни и смерти. И не случайно в той же поэме (и эти слова ни цензура, ни самоцензура не тронули) Берггольц назвала ленинградскую зиму 1941–1942 годов «библейски грозной» Вот, эти строчки, обращенные к Городу: «Не ты ли сам зимой библейски грозной / меня к траншеям братским подозвал / и, весь окостеневший и бесслезный, / своих детей оплакать приказал...»

Все эти примеры использования церковного языка не означают, что Берггольц во время войны стала верующей, но то, что священное для себя и народа она стала осмыслять на языке Церкви, возводить к христианской парадигме, придавая блокадному опыту сакральный смысл. При этом в не увидевшей свет²² до последнего времени статье 1946 года о военной поэзии Ахматовой Берггольц подчеркивала, что стихи Ахматовой периода Первой мировой войны, где она взывает о помощи к Богу и Богородице, слабее (с этим приходится согласиться), чем более зрелые ее стихи периода последней войны, где таких обращений нет²³. Все это не мешало самой Берггольц быть открытой для использования в своей поэзии церковного языка в нецерковном контексте.

Здесь я позволю себе сделать очередное отступление и рассказать об одном, можно сказать, курьезном, но одновременно и серьезном примере использования Берггольц (на этот раз в дневниках) библейского языка во вполне светском контексте.

Отступление третье. Творческий метод О. Берггольц и «библейский закон»

В октябре 1942 года Берггольц собиралась создать поэму к 25-летию Октябрьской революции²⁴. Но через несколько дней написала о трудностях в работе над ней и своем отношении к ним: «Пусть зреет поэма внутри, — а она зреет... Ее, как любовь, по библейскому закону нельзя вызывать пока она не вожделеет»²⁵ (запись от 13/X-42).

Ключ к пониманию этой записи находим в дневнике за 1927 год — время начала любовных отношений О. Берггольц и Б. Корнилова, ставшего ее первым мужчиной, а затем и мужем. В записи от 25 июня Берггольц своими словами излагает стих из Песни Песней Соломоновых. В ее изложении он звучит так «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: не вызывайте любовь, пока она не вожделеет»²⁶. Речь о стихе Песни Песней 2, 7, который в церковнославянском переводе не с масоретского текста, а с Септуагинты звучит так: «заклях вас, дщери иерусалимли, в силах и крепостех села: аще восставите, и возбудите любовь, дондеже восхошет», а в синодальном переводе: «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Место это сложное и по-разному понимается (да и переводится) разными толкователями. Судя по тому, как этот стих излагает Берггольц, можно предположить, что она читала Толковую Библию с комментариями А. П. Лопухина. Именно в ней в толковании к данному месту, в частности, находим, что речь в этом стихе идет о том, чтобы: «не возбуждать любовь (а не „возлюбленную“

²² Из-за наложенного запрета — постановление об Ахматовой и Зощенко.

²³ См. Неизвестная статья Ольги Берггольц об Анне Ахматовой. Публикация Евгения Ефимова // Знамя, 2001, № 10: <https://magazines.gorky.media/znamia/2001/10/neizvestnaya-statya-olgi-berggolc-ob-anne-ahmatovoj.html>.

²⁴ О. Берггольц. Мой дневник. Т. 3, с. 234.

²⁵ Там же, с. 236.

²⁶ Там же. Мой дневник. Т. 1, с. 474.

(как в Вульгате и в русском Синодальном и архим. Макария), пока она пробудится сама»²⁷. Как мы видим, Берггольц тоже говорит не о возлюбленной, а о любви (хотя «любовь», конечно, может иметь и такое значение, но для установления первоисточника важен выбор слов). И далее Лопухин пишет: «Невеста настоятельно предостерегает от соблазна преждевременно и искусственно вызывать и воспламенять в себе пламя любви, напротив советует предоставить пробуждение и развитие этого чувства природе и Богу»²⁸. Это толкование вполне подходит для понимания дневниковой записи Берггольц октября 1942-го, свидетельствующей о ее творческом методе: пока поэма не созреет, не следует ее искусственно вызывать. Здесь интересно и существенно, что поэтическое слово соотносится с тем, что в стихе из Песни Песней называется «любовью». Как бы то ни было, поэма к 25-летию Октября так никогда ею написана не была. Вероятно, в отличие от блокадных стихов и поэм, написанных в это же время, тема эта самопроизвольного вожделения не вызывала.

* * *

Этих примеров, думаю, достаточно, чтобы убедиться, что самое важное для себя — не только грозное и ужасное, как ужасы блокады, но и относящееся к природе творчества (а в 1927 году — к любовной страсти!) — Берггольц осмысляла на языке христианской традиции, не будучи при этом верующей в церковном смысле. Не покинул этот язык ее и после войны. Так, в одном стихотворении 1946 года, грезя, словно погибший в блокаду муж вернулся домой, она писала: «Хозяином переступил порог, / гордым и радостным встал, любя. / А я бормочу: „Да воскреснет бог“, / а я закрепляю тебя / крестом неверующих, крестом / отчаянья, где не видать ни зги, / которым закреплен был каждый дом / в ту зиму, в ту зиму, как ты погиб...»

Эти стихи Берггольц о привидевшемся воскресшим муже, между прочим, свидетельствуют о том, что его «воскресение», чему была во многом посвящена поэма «Твой путь», не вполне убедило и успокоило ее. Здесь нужно сказать, что еще в дневниковой записи начала 1938 года пережившая смерть двух дочерей Берггольц задавалась мучительным вопросом: «Как же примириться тогда с тем, что должно быть и будет отнято, т. е. со смертью [близких людей. — Г. Б.], в условиях, когда отнята идея личного бессмертия? Не должно ли прийти в отчаяние от этого?»²⁹. В поэме же «Твой путь», пережив самую тяжелую потерю — мужа, Н. Молчанова, она как будто нашла (по крайней мере, во время написания поэмы) для себя ответ на этот вопрос: бытие человека продолжается после смерти в том, что он сам при жизни считал дорожкой своей жизни:

...А тот,
 над кем светло и неустанно
 мне горевать, печалиться, жалеть,
 кого прославлю славой безымянной —
 немой славой, высшей на земле, —
 ты слит со всем, что больше жизни было —
 мечта,
 душа,
 отчизна,
 бытие, —

²⁷ Цит. по: <https://ekzeget.ru/bible/pesn-pesnej-solomona/glava-2/stih-7/tolkovaa-biblia-ap-lopuhina/>

²⁸ Там же.

²⁹ О. Берггольц, Мой дневник. Т. 2, с. 528.

и для меня везде твоя могила
и всюду — воскресение твое.

Казалось бы, ответ найден, но даже после «счастливого конца» поэмы, как видно по ее стихам и дневниковым записям, Берггольц продолжала тосковать по Н. Молчанову. Так, 30/ХІІ-45 она записала в дневнике: «Боль о нем не утихла. Траур мой не кончится никогда»³⁰. Это видно и по приведенным выше, полным отчаяния строчкам о привидевшемся возвращении мужа домой. Вера, в которой Родина или Земля (так с большой буквы она пишет ее в поэме «Твой путь»³¹) встает на место Бога, не дает разрешения тоски по мужу.

* * *

Послевоенные годы, вплоть до смерти Сталина, оказались для Берггольц в моральном отношении куда тяжелее военных. Она была не только любимой читательницей, но и признанной властями, однако право говорить правду, в том числе и о блокаде, это не давало. Тоска по погибшему мужу, измены нового (Г. Макагоненко), тем более горькие, что он спас ее во время блокады (о чем есть в «Твоем пути», где об этом говорится опять же на языке христианской традиции³²), невозможность родить ребенка из-за спровоцированного еще в тюрьме выкидыша, нарастающее разочарование от того, что сделали в стране с коммунистической мечтой, мечтой ее юности — от всего этого Берггольц чем дальше, тем больше искала забвения в алкоголе.

Незаметно, не без влияния такого образа жизни, подступила старость. В этом контексте в дневниках Берггольц едва ли не впервые появляется запись (8/ІІ-47), где мы находим нечто вроде молитвы, очень специфической, надо сказать, но несомненно искренней: «Уже морщины — божьи пути — набегают на лицо. Господи, боже мой. Я пытаюсь отмахнуться от них, отшатнуться. Улыбнуться, но они набегают. Господи, ты уже у глаз моих. У моих веселых глаз, не очень красивых, но умных, что более, чем красота.

Господи, ты уже у сердца моего

Ибо я уже боюсь смерти.

Я боюсь ее и зову тебя — помоги мне забыть ее.

Как я красива сейчас, но никто не видит этого...

О, намазанные губы, огромные, не для кого, печальные...»³³

При том, что стилистически «молитва» вполне псалмическая, она явно не к христианскому Богу; христианство учит помнить о смерти, а Берггольц обращается к своему «господу», чтобы он помог ей забыть о смерти.

К тому же 1947 году относится дневниковая запись, с которой я начал эту статью. Речь об одном частном эпизоде, но в нем, как в капле воды, отражается многое. Знаменитый театральный художник и постановщик Н. П. Акимов пытался привлечь Берггольц — из конъюнктурных, как она считала, соображений — к коллективной пьесе ленинградских поэтов. «Потом, явно покупая... рисовал ее портрет»³⁴, который Берггольц (на мой взгляд, совершенно справедливо) категорически не понравился («ни-

³⁰ Там же. Т. 3, с. 300.

³¹ «...Я поднялась, / как все, — неистребима, / с неистребимой верностью Земле».

³² Он сравнивается с добрым самарянином из евангельской притчи: «Как в притчах позабытых и священных, / пред путником, который изнемог, / ты встал передо мною на колени / и обувь снял с моих отекавших ног».

³³ О. Берггольц. Мой дневник. Т. 3, с. 344.

³⁴ Там же. с. 353.

чего там нет от меня»). У Берггольц бездушная мастеровитость Акимова вызвала глубокое отторжение. Именно в этом контексте она написала: «Не могу я все же делать что-то без бога, хотя бы без обломка бога». Но особенно интересно, что она пишет дальше: «Он тонкий художник, все понимающий, и у меня с ним больший контакт, чем с тетками из горкома, но не контакт душ, нет. У теток все же хоть из дерьма — да бог, а у него — нет. Нет даже бога искусства»³⁵. Дело не в том, права ли Берггольц в отношении творчества Акимова в целом. Я привел этот отрывок, чтобы понять отношение к вере самой Берггольц. Понятно, что «бог из дерьма» — это она так говорит о том, во что превратилась вера в коммунизм у «теток» из горкома партии. И все же, понимая это, она предпочитала хоть такую веру полному отсутствию ее.

Несомненно важным фактором жизни Берггольц в это время было общение с Ахматовой, от которой она не отреклась и после постановления 1946 года. Одна из записей в ее дневнике 22/II-48: «Аннушка принесла мне сегодня снимок с Владимирской Богородицы. Точно благословила...»³⁶ Но и эта способность принять такой дар от Ахматовой и понять, что она имела в виду, не означало, что Берггольц на тот момент отказалась от «возлюбленной мечты своей»³⁷. Теперь она говорит о ней как об «осколках идеала, некогда боготворимого», осколках, «которые все еще священны». Но тут же добавляет: «Но какое все это отношение имеет к нашему чудовищному парткому»³⁸.

Что до «возлюбленной мечты», то Берггольц предприняла попытку реанимировать ее для себя и для других, написав поэму «Первороссийск» (1950) (за нее она получила Сталинскую премию) о трагически погибших (кстати, от рук верующих христиан!) первых коммунарах, у которых было «все общее»: «и хлеб, и труд, и вроде бы душа!» (ср. про общую душу и общее имущество у первохристиан в Деян. 4, 32). Только чем прекраснее была эта мечта, тем горше было отличие ее от реальности.

Но самой страшной для Берггольц оказалась командировка на открытие Волго-Дона, который строили заключенные, а она должна была воспеть. Почувывая беду мать дала ей в дорогу семейную икону Ангел (или Спас) Благое Молчание, о чем у Берггольц есть стихи:

Достигшей немного отчаянья,
давно не молящейся богу,
иконку «Благое Молчание»
мне мать подарила в дорогу.

И ангел Благого Молчания
ревниво меня охранял.
Он дважды меня не нечаянно
с пути повернул. Он знал...

Он знал, никакими созвучьями
увиденного не передать.
Молчание душу измучит мне,
и лжи заржавеет печать....

Это о том, чтобы не солгать, не воспеть зло. Но по дороге с Волго-Дона, где она беспробудно пила (вдвоем с Александром Твардовским), у Берггольц случился приступ белой горячки.

³⁵ Там же.

³⁶ Там же, с. 387.

³⁷ Там же, с. 341.

³⁸ Там же, с. 353.

С этого времени начинается ее мучительное и безнадежное лечение от алкоголизма, трудность которого усугубляется все более очевидным распадом ее брака, который она еще надеется спасти и даже как будто молится об этом (запись 29/V-53): «Господи, если бы я могла молиться. Я помолилась бы так: господи, — жизнь — дай мне силы прийти домой, к человеку, который любил меня когда-то, — с душой, открытой настежь, светлой и чистой... Сделай это чудо, господи, — имя твое жизнь, судьба, кровь, — и я никогда не обижу тебя больше — унижением в себе твоего подобия»³⁹. Судя по всему, и в этой «молитве», как и в приведенной выше молитве 1947 года, ее предполагаемый адресат — это не христианский Бог, а сама эта запись сделана в тяжелейшем психологическом и духовном состоянии.

И все же в жизни Берггольц были просветы. В один из них (вскоре после смерти Сталина) она начала писать замечательную автобиографическую прозу «Дневные звезды», где наконец могла вспомнить и Углич, снова съездив туда. С горечью, как о личной трагедии, она написала и об обветшавшей церкви в городе своего детства:

А «Дивную» — поди восстанови,
когда забыта древняя загадка,
на чем держалась каменная кладка:
на верности, на правде, на любви?

Узнала я об этом не вчера
и ложью подправлять ее не смею.
Пусть рухнут на меня
все три ее шатра
всей неподкупной красотой своею.

Эти трагические стихи, конечно, не только о заброшенном памятнике древней архитектуры, это прежде всего о себе самой, состоянии своей души, утратившей тайну верности, правды и любви. Но такое осознание дорогого стоит.

В 1955 году Берггольц записывает в дневнике: «И вот кружит меня жизнь... с чуть не белогорячечными поездками по городу, с мгновенными прозрениями („все — от полного необратимого неверия“)⁴⁰. В 1957-м: «Ни во что я не верю, — „глухая нетовщина“ царит надо мной, — как же писать?»⁴¹. Но начиная с того же 1957 года у Берггольц нет-нет да и встречается в дневниках (впервые с 1924 года) Бог с большой буквы, причем, кажется впервые, в знаменательном соседстве с признанием утраты веры «в учение» (то есть в марксистско-ленинское учение): «Мне надо окрепнуть настолько, физически и душевно, что создать свой новый внутренний мир, воздвигнуть хоть временную опору внутри себя. Из всего, что меня держало вовне, — почти ничего не осталось: ни веры в „учение“ и его воплощение, ни любви мужа... Но мне нужно записать наш и мой собственный опыт. Так велит Бог. Он недаром показал мне такие бездны и заставил там много принять радости и страдания. Он ждет от меня, что я запечатаю это»⁴².

Тогда же она впервые — как озарением — сумела, так сказать, возвыситься духом над планом политико-идеологическим. Речь идет о реакции на роман Ремарка «Время жить и время умирать»: «...с прочтением романа я еще раз убедилась, и вдруг озари-

³⁹ Там же, с. 488.

⁴⁰ Там же, с. 523.

⁴¹ Там же, с. 550.

⁴² Там же, с. 557.

лась... догадкой. Догадкой, известной давно: что все — люди, и писать обо всех нужно, как о людях, — и в этом мессианство литературы и ее спасение. Ее нельзя умертвить, т. к. она о людях — с той и с другой стороны. Это и есть Колино — „шире политики, шире одного какого бы то ни было — учения“. Ее нельзя умертвить, т. к. она слита с человечеством, в этом ее сущность... а всякое классовое, временное — это преходящее, внешнее, а не сущность»⁴³. И дальше: «О, как бы я могла написать свое „Время жить и время умирать“! ...И Бог требует, чтобы я сделала это»⁴⁴. Этим планам Берггольц лишь отчасти удалось осуществиться в автобиографической прозе «Дневные звезды» (1959). «Главной книги», о которой говорится в этом сочинении, она не успела написать, если только не считать таковой дневники, которые она вела почти всю жизнь и в которых она предстает не как пропагандист (каковым была в качестве члена партии всю жизнь, в том числе и в «Дневных звездах»⁴⁵), но во всей трагичности своей жизни, то есть прежде всего просто как человек.

Как бы то ни было, знаменательно совпадение у Берггольц в приведенной выше дневниковой записи 1957 года — появления Бога и выхода на «человеческое», поверх классовых, национальных и прочих разделений, к чему ее призывал, очевидно еще в 30-е годы, Н. Молчанов (его значение в ее духовном становлении трудно переоценить). Заметим и то, что тоска по погибшему мужу сменилась у Берггольц прояснением в ее сознании и приятием того важного, о чем он ей говорил⁴⁶, что, видимо, она не до конца понимала и усвоила тогда (хотя, например, поэма «Твой путь», наверное, лучшее из написанного Берггольц во время войны и более всего связанная с Молчановым, менее всех других идеологична).

Трагический парадокс в том, что в то самое время, когда в своем духовном становлении Берггольц перестала верить в коммунистическое учение и начала верить в Бога, ее прошлая вера и прошлая мечта как будто «накрывали» ее, не давая ей двигаться вперед. Именно в это время (находясь в лечебнице) она получает заказ на сценарий для фильма (предполагалось, что снимать будет Григорий Козинцев) по своей поэме «Первороссийск» (1950)⁴⁷, за которую получила Сталинскую премию, коммунистической пропаганды было немало и в «Дневных звездах». И хотя сама она интерпретировала свою деятельность как попытку сохранить память о былых святынях и порушенных «храмах», но ведь никто ей не позволял писать так, чтобы было ясно, что она в «учение» и его воплощении в СССР уже не верит (а именно о таком понимании вещей в это время свидетельствуют ее дневники).

Характерна в этом отношении запись от 12/X-57, вызванная запуском первого искусственного спутника Земли. В этой записи, сделанной в лечебнице, она (не особенно разбираясь в деталях космической техники) проводит такое сравнение. Как есть спутник («звезда») и разгонный блок, который она называет «последом», так и у Ре-

⁴³ Там же, с. 558.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Это не мое мнение, а ее собственное признание: «Да Главная книга... ни на минуту не отказывается от великих задач коммунистической пропаганды» (О. Берггольц. Дневные звезды. Говорит Ленинград. М.: Правда, 1990, с. 29).

⁴⁶ Ср. еще два «завета» мужа, которые она вспоминает чуть позднее: «„Пренебреги“ — как великолепно завещал мой Коля, и второй завет его был — „Не обременяйся!“. Пренебечь и не обременяться — сроками, соображениями выдвижения и начальственного признания» (запись от 27/IV-60. О. Берггольц. Мой дневник. Т. 3, с. 611).

⁴⁷ В конечном счете фильм «Первороссияне» по сценарию Берггольц был снят лишь в 1967 году режиссерами Александром Ивановым и (главным образом) Евгением Шифферсом (в будущем известным религиозным философом и видным деятелем неофициальной культуры). Фильм не вышел на экраны, так как был запрещен к показу из-за своей авангардной эстетики, что стало еще одним ударом для О. Берггольц.

волюции была прекрасная мечта-идея и ее «послед». Ей представляется, что отделившийся разгонный блок спутника так же угрожает ему, как «послед» Революции угробил ее: «не предвидели, что вслед за Революцией помчится ее „место“, настигнет ее и, обволокнув разлагающейся массой своей, превратит эту звезду в какое-то жуткое новообразование»⁴⁸. Странное в отношении спутника это сравнение весьма глубоко в связи с Революцией. Но еще в большей степени оно отражает внутреннее духовное состояние Берггольц (которая вольно или невольно проецировала его на этот образ). В самом деле, ее собственное прошлое, ее вера в коммунизм (без которой не было бы и поэмы «Первороссийск»), как и ее собственная юношеская мечта, вместо того, чтобы остаться в прошлом, «накрывали» ее, так что она, уже как будто не верящая в «учение» и мечту, продолжала воспевать и то и другое, пусть и под предлогом сохранения памяти о прежних святынях.

В той же записи 1957 года Берггольц горько сетует о том, что эта «звезда», то есть спутник, «в горькой стране рождена», где «приучают любить с „опущенной головой и сомкнутыми устами“»⁴⁹. В запуске спутника она видит очередной эпизод в дурацкой гонке «догнать и перегнать» Америку. В связи с последней, впрочем, она тоже вспоминает прежде всего о взрыве атомной бомбы и пишет: «...вспышка первой атомной бомбы была ярче солнечного света. И все-то тщится человек бога⁵⁰ переплунуть, превозмочь... Бессильный в своем всемогуществе. Всемогущий в своем бессилии»⁵¹. А кончается запись на совсем уже мрачной ноте: «Несется в эфир мертворожденный мир и за ним кровавый послед»⁵². В этих записях о запуске спутника мне видится довольно точное отражение внутреннего состояния — а как иначе у большого художника? — самой Берггольц, то трагическое внутреннее противоречие, в котором она в тот момент пребывала.

Но само это противоречие имело — что важно почеркнуть — и позитивную сторону, оно было бы невозможно без нее. Ею, тем новым, что появилось в дневниках Берггольц этого времени, был Бог. Конечно, появление «Бога» еще не значило, что Берггольц в это время стала верующей в церковном смысле, да и вообще что вера в Бога укоренилась в ней. Но зайти в церковь, уже не только разрушенную и закрытую, как в Угличе, но и действующую, стало для нее теперь возможно. Так, в 1959 году она оказывается на Троицу в храме и делает такую запись в дневнике: «21 июня 1959. Воскресенье. Переделкино. Сегодня. Тоска по вере. Троица. Была в местной церкви — и несколько раз одолевала слезы: о, какие верующие, полные внутреннего света, веры и надежды лица! И вовсе там не одни старики и неполноценные какие-нибудь люди — много людей моего возраста, много молодежи — и у всех такие верующие, такие полные внутренней мысли и мудрости лица. А мы — и я тоже, не тоже, а, видимо, более, чем кто-либо другой, — мы перед этим народом гаерничаем, обманываем его, глумливо и...» <далее обрыв текста>⁵³. А ведь это написано в момент выхода в свет «Дневных звезд», в которых, конечно, много замечательных страниц, в том числе и об Угличе ее детства, и о ее верующей бабушке (чья вера не скрывается), но в целом это произведение на-

⁴⁸ Там же, с. 568.

⁴⁹ Там же, с. 569.

⁵⁰ «Бог» снова с маленькой буквы (возможно, инерция правил советского правописания), но весь контекст говорит, что речь именно о всемогущем библейском Боге.

⁵¹ Сравним это с отрывком из поэмы «Первороссийск» (диалог местного жителя с приехавшим на Алтай организовывать коммуну рабочим): «„Так, значит, вы без бога? По науке? / А бог-то есть! Ведь есть он? Или — врут?“ / Кликович им показывает руки / в мозолях: / „Есть! Владыка Мира — Труд! / Вот он, и вседержитель и создатель. / Все сотворит и все подаст — в борьбе. / А остальное — опиум, приятель, / чтоб ты не верил самому себе“».

⁵² О. Берггольц, Мой дневник. Т. 3, с. 572.

⁵³ Там же, с. 599.

писано вполне с коммунистических (конечно, с учетом решений XX съезда) позиций, точнее, с позиций того, что можно было бы назвать коммунизмом с человеческим лицом, потому что личное, человеческое измерение в этой прозе все время подчеркивается.

Эта раздвоенность Берггольц — декларируемая верность Партии и ее идеологии при происходящих в ее душе мучительных процессах пробуждения веры в Бога и осознания необходимости выйти в творчестве за пределы идеологии — порождала в ней глубокий внутренний конфликт, который только усугублялся все более прогрессирующим у нее недугом и, в свою очередь, усугублял его. Обрести цельность в ситуации такого внутреннего противоречия ссылкой на «веру в величье сердца человеческого» (слова Маяковского, которые Берггольц приводит в дневнике в 1960-м⁵⁴), видимо, никак не удавалось.

Дневниковые записи конца 50-х годов становятся все более трагическими и противоречивыми, а в 60-е она, впрочем успев поклясться в верности подвигу коммунаров («Первороссийск бессмертен, хотя исчезла сама точка — она уже почти затоплена. Первороссийск у меня тут, в груди. Он для меня — святыня, что бы со мной ни стало»⁵⁵), и вовсе перестает вести дневник. Но кое-что относящееся к интересующей нас теме дошло и из этого времени. Например, реакция Берггольц на первые пилотируемые полеты в космос.

Отступление четвертое. Ольга Берггольц, космос и Бог

Помимо нескольких предназначенных для печати (и опубликованных) стихов, посвященных космонавтам (ничем особым не интересных), Ольга Берггольц написала одно стихотворение, которое — судя по его последним двум строчкам — писалось без оглядки на публикацию. Оно и не было напечатано при ее жизни, а появилось уже после смерти поэта, в 1979 году (в журнале «Дружба народов»). Вот этот текст, который мне представляется во многих отношениях замечательным:

КОСМОНАВТУ

Только мы,
 только мы
с тобою знаем,
 космонавт,
что такое —
 эта гибель
 мимо нас!

Только мы
с тобою знаем,
 как берет
эта гибель
 все дыханье в оборот.
(Не прогулка, не гуляние
 на час —
это вечность пролетает
 мимо нас.)

⁵⁴ Там же, с. 609.

⁵⁵ Ольга Берггольц. Запретный дневник (цит. по: <https://biography.wikireading.ru/31962>) (запись от 3/VIII-60).

А уж как она, та вечность,
холодна,
а уж как она,
проклятая, черна,
только мы
с тобою знаем, космонавт,
и никто еще не знает
ничего,
кроме нас...

Только мы да, может быть, и Бог...
Да и Он еще не ступит за порог.

1960-е годы

«Бог» и местоимение «Он» я позволил себе написать с большой буквы, хотя в публикации советского времени пишется, конечно, с маленькой.

Последние две строчки сложны для понимания, эта «темнота» вкупе с уважением к умершей, вероятно, позволили пройти стихотворению советскую цензуру и быть по-смертно опубликованным. Непонятность этих строчек может быть вызвана известным недугом Берггольц, а может, и «плоскостью» нашего восприятия, неспособного их по-настоящему оценить. В любом случае звучат эти две строчки как своего рода «ответ» на известную советскую присказку: Гагарин в космосе был, Бога не видел.

К слову, о Гагарине. Не знаю, дошли ли до Ольги Берггольц его слова, сказанные В. Высоцкому, — краткий ответ на вопрос: «Как там, в космосе?» — «Страшно!»⁵⁶ Но именно такое восприятие космоса (совсем неофициальное, не для газет) мы и встречаем в стихотворении Берггольц. Это глубокое и точное совпадение (весьма вероятно, что «случайное»). Ощущения космонавта перед лицом космического «ничто» в стихотворении отождествляется с тем состоянием, которое О. Берггольц знала как поэт. Можно ведь прочесть и так: «И никто еще не знает / НИЧЕГО, / кроме нас». Обратим внимание на избыточность этого «ничего», стихотворение было бы явно глаже без него: «И никто еще не знает, / кроме нас». «Ничего» выбивается своей какой-то «неправильностью» (без него, кажется, вполне можно было бы обойтись), но оно оставлено, и это-то косвенно свидетельствует о его значимости.

Из ее дневников известно, что в юности Ольга Берггольц, выбирая свой путь в жизни, мечтала стать летчицей⁵⁷, это привлекало ее одно время даже больше, чем поэзия. Но все же победила поэзия. В конце же жизни она как поэт «отразилась», узнала себя, свое «ремесло» в работе космонавта.

Только мы да, может быть, и Бог...
Да и Он еще не ступит за порог.

В последних двух строчках мне видится догадка-прозрение о том, что в этом «ничто», которое настоящий поэт знает, а космонавт может почувствовать во время полета, что в этом «ничто» возможна встреча с Богом. Может быть, это «ничто» и есть тот «порог», «граница» между человеком и Богом, на которой только и возможна эта встреча.

⁵⁶ См., напр.: <https://kosmo-museum.ru/news/vysotskiy-v-kosmose>.

⁵⁷ См.: О. Берггольц. Мой дневник. Т. 1, с. 121.

Впрочем, может возникнуть вопрос: а не передает ли состояние поэта, встречающееся в стихотворении, скорее богооставленность, отчаяние, в котором оно писалось? Ведь куда не выкинешь слов: «проклятая черна», «гибель» и т. п. Такая трактовка, в принципе, не исключает сказанного выше. Но в любом случае это не погруженность в гибельность. Отчаяние, гибель не поглощает поэта — «эта гибель МИМО нас». Поэт сохраняет предельный самоотчет в этом состоянии. Собственно, стихотворение рождается из этого предстояния гибели, угрозы ее.

* * *

Но вернемся к духовной биографии Берггольц, последнему периоду ее жизни и творчества, наиболее мучительному, но тоже знавшему свои просветы. Чем дальше, тем больше болезнь Берггольц принимала все более тяжелую форму. В Городе, конечно, знали о недуге своей любимой поэтессы, чье слово поддержало многих и многих во время блокады. Чем могли, помогали, а верующие о ней еще молились. И Берггольц знала, что о ней молятся:

По вершинам, вечно обнаженным,
проходила жизнь моя, звеня...
И молились Ксении Блаженной
темные старушки за меня...

У этого отрывка в творчестве Берггольц есть знаменательная параллель (в ней же встречается и важное для нее слово-символ⁵⁸ «вершина». Описывая в своей автобиографической прозе «Дневные звезды», как умирала ее бабушка, Берггольц передает ее последние слова: «Спаси, господи, рабу твою Марию и красную твою столицу Москву». И дальше говорит о том, что ей самой подумалось в этот момент: «Вот как она умирает: не спеша, торжественно... Вот прощается, благословляет... Это все, чем может она принять участие в войне... Это ее последний труд в жизни. Не смерть — последнее деяние. По-русски умирает, верней, отходит — истово, все понимая. И не в боге для нее дело, совсем не в боге. Говорили, когда умирал Павлов, он следил за своим состоянием и диктовал свои ощущения ассистенту, сидевшему около. И вот к нему постучали, хотели войти, но он ответил: „Павлов занят — Павлов умирает“. Гений человечества — и темная моя бабушка... Впрочем, почему же она темная? Разве трудиться, любить, без конца любить, так, чтоб в последний час свой помнить о родных, о родине, — это не чистейшие вершины духа?»⁵⁹

Заметим, что в этом отрывке встречаются и «темная» бабушка, и «вершины» (духа). Они же встречаются и в строфе с блаженной Ксенией («по вершинам, вечно обнаженным» и «темные старушки»). Замечательно и то, что хотя Берггольц представляется, что «дело совсем не в боге», бабушка-то у нее внучек и Москву благословляет,

⁵⁸ В настоящей статье, говоря о поэтике Берггольц, я неоднократно использую понятие «символа», и это не случайно. В одной из своих дневниковых записей, семнадцатилетняя Берггольц, впервые ознакомившаяся с манифестами различных поэтических школ, написала: «Вчера читала сборник программ, деклараций и т. д. „от символизма до октября“. Интересно! Сначала символизм увлек. Даже подумывала о „неосимволизме“, о возрождении традиций символизма на современной основе. ...Только и есть две главные силы — символизм и акмеизм-адамизм (программный)» (О. Берггольц. Мой дневник. Т. 1, с. 404). Мне кажется, Берггольц в той или иной форме не отступила от этой своей юношеской идеи о неосимволизме.

⁵⁹ О. Берггольц. Дневные звезды. Говорит Ленинград. М., 1990, с. 87.

да и вместо «умирает», поправив себя, Берггольц вспомнила другое слово: «умирает, верней отходит».

Но вернемся к четверостишию Берггольц. Образ «вечно» «обнаженной вершины» из него играет важную роль в ее поэтике. Встречается этот образ в программной для Берггольц поэме «Твой путь».

...О девочка с вершины Мамисона,
что знала ты о счастьяи?

Оно

неласково,
сурово и бессонно
и с гибелью порой сопряжено.

.....
Оно несет на крыльях лебединых
к таким неугасающим вершинам,
к столь одиноким, нежным и нагим,
что боги позавидовали б им.

Понятно, что для Берггольц «вершина» («обнаженная», как в строфе «с Ксенией», или «нагая», как в отрывке из поэмы) — это слово-символ, смысл которого духовная высота, особенный духовный опыт, которым, пережив его, поэт делится с другими. Не случайно названия «День вершин» носят три раздела глав в «Дневных звездах», из которых и отрывок про смерть «темной» бабушки со словами «разве это не чистейшая вершина духа?».

Учитывая такой контекст для «темных старушек» из строфы про Ксению, можно догадаться, что и с ними дело обстоит не так просто. Как и бабушка Берггольц, они для нее, вероятно, «не так уж и темны» и, может быть потому и могут молиться блаженной Ксении за ту, чья жизнь проходила по обнаженным, сопряженным с гибелью вершинам, что сами вошли в меру «чистейших вершин духа»?

В тех же листках из архива О. Берггольц, опубликованных ее сестрой Марией, встречается и еще одна строфа, которая, как мне кажется, внутренне перекликается со строфой про Ксению. Обращена она к неизвестному мне священнику:

ПИСЬМО О. АЛЕКСАНДРУ

Помолись обо мне,
Помолись обо мне, —
Страшно мчать на такой
вышине...⁶⁰

Снова вместе темы страшной «высоты» и молитвы.

А вот еще строчки Берггольц, уже 70-х годов, самых последних лет жизни:

А в современнике — не разобраться ли,
Тут уж задачка зело проста:
вместо души у него — информация
плюс нуклеиновая кислота.

⁶⁰ О. Берггольц, Прошлое — нет! СПб.: Царское Село, 2003, с. 332.

Что-то на той кислоте отложится,
Там разберут молодца...
Божию милостью, милостью Божию
жить я хочу до конца⁶¹.

«Там» — это ведь на Страшном суде!

* * *

Берггольц просила близких друзей, чтобы, когда она умрет, над ней звучали «Всенощная» Рахманинова и «Ныне отпускаеши» в исполнении Шаляпина. Но писательские начальники запретили со словами: «Ну что вы! Ведь Берггольц — коммунист. Она давно отреклась от религии»⁶².

Похороны Берггольц на Литературных мостках (Волково кладбище)⁶³ не стали таким же событием в жизни города и страны, как прощание с Ахматовой⁶⁴. Обычные, любившие ее читатели о похоронах узнали слишком поздно, чтобы успеть на них прийти (не дали, видимо специально, вовремя объявления в газетах и на радио). Не собрался на них (как у Ахматовой) и весь цвет тогдашней поэзии, а речи по большей части были сервилитскими и блеклыми. Но незадолго до смерти уже были произнесены слова самой поэтессой о своей поэзии, лучше которых, думаю, никто бы и не сказал. Хотя речь в этих стихах прежде всего об Анне Ахматовой и ее поэзии, но рядом с ней и после нее о самой Берггольц:

О, живущая нестерпимо,
О, идущая неизгладимо,
Оставляющая светоносный след.
Что за благодать ко мне явилась?
Божья ль это,
 людская милость?
Рядом быть с твоею судьбой,
Заслонять хоть на миг собой.
Что ж, что это было напрасно?
Часто робким, чаще безгласным,
По своим законам живем
По кремнистым путям идем.

Я иду за тобою
 след в след.
Я целую его
 свет в свет.
Я бессонная как ты,
 бред в бред.
Знаю так же, как ты,
 что смерти нет.

Между 1973 и 1975 (?)

⁶¹ О. Берггольц. Встреча. СПб.: Царское Село, 2003, с. 381.

⁶² Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет, с. 404.

⁶³ Хоронить Берггольц на Пискаревском кладбище (где были выбиты ее слова) вместе с жертвами блокады, как она хотела, не разрешили.

⁶⁴ В них Берггольц, конечно, и сама участвовала.

В позднем творчестве Берггольц мало стихов такого же уровня, как лучшие из ее прежних. Это — одно из них. Оно не только точно и пронзительно по содержанию и глубоко по смыслу, но и — как лучшие из ее старых стихов — с богатым ассоциативным рядом. Кроме очевидного лермонтовского «кремнистого пути» (для Берггольц он был обогащен темой «звезд», ср. «Дневные звезды», но не только), здесь, конечно, явная аллюзия к известному стихотворению Ахматовой:

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

Ленинград, 1944

У Берггольц те же темы светоносности поэзии для мира и «смерти нет». Да, но разве не заключила сама Берггольц еще в 1940 году стихотворение «На Мамисонском перевале» словами: «...что смерти не было и нет»? Но там это было не общим, так сказать, утверждением, что, мол, вообще смерти нет, а словами, отражающими переживание момента — восторга души из обыденного, телесного плана существования. Теперь же, под конец жизни, пройдя через все то, что она прошла, Берггольц осмелилась сказать: «Знаю... что смерти нет» — применительно не к какому-то моменту, а в абсолютном смысле. И, надо сказать, сделала она это более определенно, чем Ахматова, у которой модальность высказывания («А может, и смерти нет»), как и весь контекст стихотворения, двусмысленны. В поэтическом отношении в этой ахматовской двусмысленности (хорошо о ней написал Ю. Найман⁶⁵) несомненно есть некая таинственная прелесть. Берггольц по сравнению с ней — прямодушна и проста (кто-то скажет — слишком, особенно после того, как в «Поэме без героя» у той же Ахматовой прозвучало: «Смерти нет — это всем известно,/ Повторять это стало пресно»). Но в этой простоте есть своя правда и сила. Собственно, в этом «знаю... что смерти нет», удостоверяемым поэтически, наверное, и состоит итог духовной биографии Ольги Берггольц.

* * *

По свидетельству сестры поэтессы, муж Марии Федоровны, «он верующий человек», через 40 дней после смерти Ольги Берггольц пошел подать записку за упокой в один из ленинградских храмов, и священник рассказал ему, что таковых уже подано более 40 штук⁶⁶. То же самое, наверное, было и в других храмах.

⁶⁵ См. <http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/najman-rassказы/stranica-5.htm>.

⁶⁶ Мария Берггольц вспоминает о сестре Ольге. 1977 год (<https://arzasamas.academy/mag/12-berggoltc>).